Сентябрь. Крапивницы ещё летали. Шумел фонтан. Разоблачался клён ясенелистный. Листья жёлтые лежали. И в это всё я был влюблён.

И я хотел признаться, но кому же? Крапивницам и небесам. Но так ли голос мой был нужен хотя бы мокрым голубям?

Нет, нежность вся невыносима и безответна, хоть любовь светла. Она в тебе была и мимо прошла.

Не о берёзках и шахтёрской славе — об этом я не то что не могу, об этом попросту не вправе, ведь я у воздуха в долгу.

Здесь долгий сон, грохочущие шахты, живое напряженье жил, и с мыслью «пепел, перхоть, прах ты» за сигаретами выходит старожил.

Так пусто днём, что лучше б вечер, деревья мне напоминают стариков, и угольною пылью переперчен местами скат снегов.

Стараниями искалечена аллея, на пустыре тут не достроен стадион, и лезет из земли, коричневея, трава, худая испокон.

Давно тут выцвели фасады, где ярко геометрия жила, и непонятно мне, чему же рады сияющие купола.

Тут на проспекте многолюдно, снег, перемолотый в халву. Родное всё, всё дурно, трудно, всё наяву.

Как посторонний, как прохожий, бреду через жилой квартал, и бедные предметы смотрят строже, не понимая, кто такими их создал.

Я не знал вдохновения или полёта. Было только мучение, жгучая рвота. Никакого молчания, Тютчев наврал. Нам даётся отчаянье, я бы сказал, не для бегства и ужаса, не для усердий. Голова моя кружится, словно в предсмертьи.

Разрываются коконы, чтобы всё началось, чтобы слепнули около, но чтоб голос насквозь.

Всё иначе представлялось, но не ласкова усталость. Может, жизнь не так нежна. Может, вовсе не нужна. Снега синь и листьев алость — да, конечно, это малость, но она верна.

Я не буду, не буду, не буду! Но неведомо, как перестать. Человек обращается к чуду (как подсолнухи к солнцу) опять.

На одно ледяное мгновенье жаркий дар показался тяжёл. Но от света растаяли тени. Я дышу, я ещё не ушёл.

Нелегко мне даётся дыханье. Синий воздух завязан узлом. Непонятно, невнятно страданье в мире трудном, огромном, родном. Июньским вечерком сидел, смотрел на воду и слухом поглощал природу, с которой незнаком. Она свистела, щебетала, и что-то чавкало в воде. Она со мной не совпадала, она меня не понимала, а я не отвечал звезде, зачем я наделён сознаньем, зачем ему темно. Ни вечером, ни утром ранним звезда не падает и не идёт на дно.

Набережной убелённое пространство. В жизни смысла нет, но тянется не зря. Человек есть честное непостоянство в сером воздухе рябого декабря.

В никуда, в ничто нацеленная стела. Перед вечным и оранжевым горит то, что пело, мучилось и уцелело. Что за человек я? Что я за подвид?

Нынче я как будто в первый раз проснулся и увидел тусклый, разрешённый свет. Ржавый лист на ветке дерева свернулся — это куколка, не знающая бед. Морозен — потому-то и чудесен. Струится радостная грусть от стаи свиристелей, от их песен. Погибнет грусть? Погибнет. Ну и пусть,

ведь на существованье нет запрета. Смотреть, как вытянуты тополя, как беззащитны. Временна победа, но дела нет им, что не для

чего-то рост, старание, стремленье. Под ними припаркован джип. С блаженством, с жизненною ленью рождается прозрачный скрип.

Тончайшей, смертной плёнкой иней на худосочных ветках верб. Заслушиваться тишиною синей — крещендо и ущерб.

Ты тяжела, всё тяжелей, хоть восхитительна в придачу, и это чувствую острей, когда считаю, словно сдачу, я в сквере звёзды. Как потрачу?

Роскошная, не мелочи, твердя мне о процентном росте, ведь удержать твои лучи (какие золотые ости!) не хватит нежности и злости.

Рождение аккорда в тишине, теперь их два, теперь их три, но многого не говори — в особенности мне. Я всё и без того пойму: и свет в тебе, и собственную тьму.

Голубь в голубых сапожках и сиреневом воротничке, разувайся, розовые ножки покажи на искристом снежке.

Воздух зябкий, но не злобный не наделает тебе вреда. Снег — материал удобный для миниатюрного следа.

Но не можешь ты на месте устоять и мчишься, топоча, забывая крестик, крестик, крестик и воркуя сгоряча.

Что тебе пшено и крошки, если ты перед женой демонстрируешь сапожки, голубые, как небесный зной?